

Московская правда, 1964, 31 мая.

Воскресные ЧТЕНИЯ

ЖИЗНЬ И РОЛЬ

Михаил ЖАРОВ, народный артист СССР

ВСЯ ОСЕНЬ и начало зимы 1915 года прошли у меня под знаком увлечения Шалаяпиным. Стало известно, что Федор Иванович будет выступать с гастролью на сцене Зиминского театра.

Для меня лично начало гастрольей Ф. И. Шалаяпина ознаменовалось, прямо скажем, курьезным происшествием. 30 ноября шел «Фауст». За сценой (не говоря уже о зрительном зале) каждый клочок пространства был забит артистами, хором и кордебалетом. Я с группой товарищей взобрался на правую порталную лестницу и, пристроившись на пятой или шестой ступеньке, впился глазами в Федора Ивановича. Сначала все шло спокойно. Но вот Мефистофель — Шалаяпин запел свою знаменитую арию «На земле весь род людской...». После этой сцены хор, вооруженный шпагами с крестообразной рукояткой, наступал на Мефистофеля: «Изыди, сатана! Вот крест святой! Он нас спасет от зла!», — цел хор.

Мефистофель корчился в муках под крестным знаменем. Момент был незабываемый! Устремив глаза ввысь, то пригибаясь, то вытягиваясь во весь свой могучий рост, великий артист передавал все оттенки ненависти Мефистофеля к кресту, которым его осенили. Все замерли. Наконец Мефистофель, пятясь, скрылся за кулисы. Раздался гром аплодисментов, зрительный зал неистовствовал. Я ору от восторга, сам не помня себя... И вдруг чья-то энергичная рука решительно стаскивает меня за ногу с лестницы. Разъяренный помреж Кудрин, весь красный от гнева, кричит, чтобы я убрался на все четыре стороны.

— Ты что же, черт кудлатый? Федор Иванович играет, а ты ему рожи строишь?!

— Боже мой! Что вы говорите! Какие рожи? Кто? Я?! Оказывается, соперничая игру Шалаяпина, я непроизвольно повторял его мимику, а нечуткий Кудрин принял это за передразнивание. Ужас! Как могли подумать, что я решусь на такой дерзкий поступок! Мне было горько до слез. Тем более что в тот вечер, готовясь слушать своего кумира, я даже карточку приготавил, чтобы Федор Иванович оставил мне свой автограф. Я дождался Шалаяпина, когда он шел из-за кулис в артистическую, и у нас произошло «объяснение», в результате которого на карточке Еремки из «Вражьей силы» появился автограф: «Мише Жарову, который, я верю, не строил мне рожи! Ф. Шалаяпин». Очень обидно, что эту карточку у меня потом кто-то взял и не вернул.

Во время вторых гастрольей Шалаяпина я старался не пропустить ни одной репетиции. Они были для меня откровением, я искал в них разгадку таланта. С утра я забивался в директорскую ложу и ждал шалаяпинских репетиций. На моих глазах разыгрывались интереснейшие сцены, которые были доступны немногим. На репетициях облик Шалаяпина как человека и артиста вырисовывался еще рельефнее и живее. Мне казалось, что каждый шаг, каждое движение, каждое слово Шалаяпина не похожи на то, что делают актеры рядом и около него.

Вот он дошел до музыкальной фразы: «Сатана там правит ба-а-а...» — и остановился. Подойдя к авансцене, Шалаяпин заговорил с дирижером Плотниковым, настойчиво убеждая его:

— Евгений Евгеньевич, дорогой, — говорил Шалая-

„Я ПОМНЮ Россию начала века, Москву ночных извозчиков, мне суждено было пережить и пережить горячее время революционных бурь, о которых будут слагать легенды... Силой обстоятельств я частенько оказывался в центре интереснейших исторических событий. Помню Шалаяпина и Маяковского, Вишневского и Эйзенштейна, Тарова и Мейерхольда и многих других примечательных людей, достойных того, чтобы вспомнить их имена...».

Так пишет в своих воспоминаниях популярнейший советский актер Михаил Иванович Жаров. Эти мемуары начинают печататься в журнале «Театр».

Сегодня мы публикуем с некоторыми сокращениями главу, посвященную Федору Ивановичу Шалаяпину.

пин, — вы тут паузы не держите. А композитор пишет не только ноты, звуки, он еще пишет и паузы. Это тоже музыка, это нужно знать, мой милый. — И Шалаяпин напевает это место, как он его понимает.

И красавец, гроза всех солистов, Евгений Евгеньевич Плотников, положив палочку на пюпитр, сложив руки на груди, внимательно, как школьник, слушал, что ему говорил Шалаяпин. И он не качал головой — «нет» и не выражал скепсиса!

— А потом, голубчик, пожалуйста, — обратился Шалаяпин к ударнику, — ударьте в тарелки «дзинь», как будто золотого рассыпалось! — и сам, взяв тарелки, показал, как это сделать.

Шалаяпин повторил арию, тарелки сработали, и это было великолепно, это было потрясающе, и все присутствовавшие поняли, как был прав Шалаяпин.

ВОТ ТАК, из темноты своей ложи, я наблюдал за репетициями Ф. И. Шалаяпина. А потом, наскоро пообедав, снова бежал в театр, где видел Шалаяпина уже на сцене перед зрителем, в полной красе и мощи его огромного таланта и редкого сценического темперамента.

Особенно я дорожил спектаклем «Борис Годунов», в котором сам, уже признанный статист, одевался стражником и сдерживал толпу в знаменитой сцене у Спаских ворот. Я стоял спиной к зрительному залу, перед самым помостом, на который выходил царь Борис — Шалаяпин и пел знаменитую арию «Скорбит душа, какой-то страх невольный...».

Когда он запел, все замерли, на сцене и в зале воцарилась мертвая тишина, а Шалаяпин вдохновенно, с закрытыми глазами сделал несколько шагов в мою сторону и остановился надо мной. Я смотрел на него снизу вверх, пока он пел «О, праведник, о, мой отец державный...». И тут я в первый и последний раз в жизни увидел горло великого артиста в процессе пения, увидел его гортань и маленький язычок, который трепетал там, внутри, как пойманная птичка. Шалаяпин делал еле заметные движения губами и мускулами лица, как бы расставляя резонаторы, и эти движения и шлопотанье языка придавали голосу обворожительный тембр. Я как бы видел звук, льющийся из его гортани, потому что видел механизм, его создающий. Голос Шалаяпина казался объемным, обладал стереофоническими возможностями, будто он шел из разных уголков зала. Звук и слово будто ввинчивались. И как бы ни пел Шалаяпин — в полную силу, шепотом или речитативом, — он вас покорял своей выразительностью на всю жизнь.

КОЛОРИТНЕЙШЕЙ фигурой был шалаяпинский Варлаам. В нем прежде образа был воспринимали художника огромного масштаба, бескрайнего дарования, неумейной фантазии и темперамента.

Идти на оперу и ждать того, что ждешь от драмы, — уже великая вещь!

Варлаам Шалаяпина был очень высок ростом, толст, очень толст. У него была голова дулей, которая сужалась к темени, и череп кончался дыней. Это был обжора, бражник, весельчак, забудыга, трутень. Он хватал в жизни все, что плохо лежало. Бы видели сразу по его хитрому прищурю, на что он зарится и к чему безразличен. Когда Шалаяпин доходил до места: «Как

во городе было во Казани...», когда в одной руке он зажимал штоф, а в другой — что-то вроде соленого огурца, точно не помню, то это была не вставная ария, которую композитор написал оперному артисту. О, нет! Обычно артист, играющий Варлаама, проговаривает и походя проигрывает положенный текст до этой арии, зная, что основное в его маленькой эпизодической роли — «Как во городе было во Казани...». Он только это и видит. Такие актеры не знают, что Варлааму делать до этой арии и после нее. Когда же вы слушали Шалаяпина, вам было ясно, почему он с таким подъемом поет эту песню. Его, плотоядного и жизнелюбивого монаха-расстригу, усталого и голодного с дороги, корчмарка угостила вином, которое его возбудило. Оно подействовало, как красная тряпка на быка, и вся его плоть, до сих пор дремавшая от голода и стужи, вдруг задрожала, воскресла, и он запел, обуреваемый пробудившимися страстями: «Как во городе было во Казани...».

Видел я Шалаяпина и в роли Олоферна из оперы «Юдифь», царственно возлежащим на ложе с чашей в руке. И мы понимаем Серова, который не мог пропустить эту живописную позу артиста и создал картину на эту тему.

А на следующий день (вернее, через день, так как гастрольные спектакли шли три раза в неделю) Шалаяпин уже был русским до мозга костей, разухабистым, яростным и отчаявшимся Еремкой во «Вражьей силе». Кто помнит эту оперу, тот знает, что Еремка поет вместе с хором: «Широкая масленица, ты с чем пришла...» — и кончается эта сцена наивысшим форте хора, которое Еремка должен покрыть своим голосом.

Что же делал Шалаяпин? Когда наступало форте, он поворачивался спиной к публике и лицом к хору и, не выходя из образа, крутил кулаками, как бы делая знак хору: «А, ну-ка, поддай! Пусть знают наших!». И хор, действительно, «давал жару», да такого, что своды театра, казалось, вот-вот лопнут. В тот момент, когда хор доходил до кульминации, Шалаяпин вдруг поворачивался лицом к зрителям, хор тут же переходил на пиано, а Федор Иванович брал сильнейшее форте.

Невозможно передать, что делалось в этот момент в театре! Шалаяпин показывал здесь не только силу своего голоса, — нет, он был здесь виртуозом техники пения, умнейшим и талантливейшим мастером. С легкостью гения он преодолевал главную трудность оперного исполнения — пресловутое форте хора и оркестра, которое обычно заглушает певца. И более того: силой своего дарования, актерской интуиции Шалаяпин доказывал на практике, что форте в искусстве вообще, и в оперном в частности, не крик, не надрыв, а самая высшая степень эмоционального выражения.

И ЕЩЕ ОДНО воспоминание, связанное с Ф. И. Шалаяпиным.

..Сидели мы в банкетном зале ресторана «Эрмитаж», что на Трубной площади, в компании друзей Шалаяпина, среди которых было много знаменитых артистов, художников и музыкантов. Я попал туда совершенно случайно, очень стеснялся и пристроился где-то на уголке длинного стола. И вот из общего зала, где играл струнный квартет, раздалось пение. Там какой-то эстрадный певец запел романс «Глядя на луч пурпурного заката...».

Шалаяпин сказал:

— Господа, прошу одну минуточку, — и стал слушать своего коллегу по искусству.

Все притихли. Я немного опьянел, мне дали бокал вина, а я никогда не пил. Вдруг вижу, как Шалаяпин встает и со словами «Боже мой, какой это ужас!» направляется в общий зал. Он подходит к оркестру и говорит:

— Maestro, одну минуточку, проаккомпанируйте мне этот романс.

И запел. Боже мой, что это было!

И тут я увидел Шалаяпина беспощадного, непримиримого к любой фальши в искусстве, не терпящего халтуры. Он физически не мог себе позволить пройти мимо несовершенного в искусстве. Вот почему, когда запел певец-ремесленник без души, Шалаяпин не мог не исполнить этого романса: он не мог не вернуть музыке ее суть, ее содержание, ее красоту.